

такое театр, мужская ли эта работа. Нравилось мне все это. Я только сейчас об этом стал думать. И значит – все, профессии конец. Потому что в театре можно работать только пока ты любишь его и ни о чем не задумываешься.

– Что для вас театральная роль?

– Роль опасная вещь. Бывает, ты снимаешь грим и уходишь из театра, но роль тебя увлекла, и ты еще чувствуешь зал, его энергию, и тебе хочется продолжить, продолжить... А надо как: отыграл роль, снял костюм – и пошел. Но это и есть самое трудное. Часто роль начинает на психику действовать, и вот уже человек в этой роли в жизни живет, общается как персонаж – грешил этим даже такой гениальный актер, как Смоктуновский. Он ведь и в жизни играл Мышкина. Очень хорошо играл, но, глядя со стороны, хотелось его упрекнуть: зачем это? Правду ведь говорят: актер лучше других знает человеческую природу, зато совсем не знает себя.

– Что вам было приятнее: видеть себя на экране или выходить на сцену?

– Только театр! Я вообще не очень понимаю актеров, которые заклиниваются на кино. Там актерской работы так мало, все время занято переездами и оргвопросами. А в театре выходишь на сцену – и за два-три часа проигрываешь всю жизнь своего персонажа. Известность, которую дает кино, никогда не имела для меня большого значения. Потому что она пришла ко мне позже, чем к другим. В театр я попал поздно, и первое время мне там не везло. Так что когда пришла известность, я смотрел на нее, как на что-то второстепенное. Видеть себя на экране мне всегда было мучительно.

– Вы адвокат своих героев?

– Это, может быть, и правильное деление, деление актеров на адвокатов и прокуроров своих персонажей, но

очень схематичное, грубое. Талантливый человек сам находит свою систему. Помню, мы в консерватории учили Станиславского чуть ли не как математику. Но это все ерунда. Помните, когда Шаляпин играл Сусанина, ему говорили: «Ой, вы так вжились в роль, что плачете». Он говорил: «Нет, мне так жалко Сусанина». Самая главная актерская эмоция – сочувствие своему персонажу. И людям вообще. Равнодушный к чужой судьбе человек актером быть не сможет. Но это опасное дело. Я помню, как старался влезть в шкуру Франца из пьесы Сартра «Затворники Альтоны». Он после фронта, увидев, что искорежившая его фашистская Германия повержена, свихнулся и двадцать лет не спускался с чердака, пытаясь себя и Германию оправдать перед самим собой. Я так влезал в его шкуру, что трудно было потом выкарабкиваться. Это был транс, самогипноз, я и зрителя доводил чуть не до истерики. И удовольствие было от того, что ты себя уничтожаешь на сцене. Ведь самое большое удовольствие, как бы идиотски это ни звучало, это смерть. Я читал Мечникова, физиолога и философа, он занимался вопросами продления жизни и наблюдал много смертей. В своих философских трактатах он писал, что самое большое удовольствие человек находит, умирая, и что

главная цель (я же в ту пору цель в жизни искал, сейчас не ищу, потому что нет ее) – это смерть. Человек страстно желает смерти. Идет к ней как к заветной цели. И, оказывается, удовольствие – это когда ты себя уничтожаешь. Тяжело работаешь. И получаешь компенсацию. Ты бываешь после спектакля измотан, выжат, как лимон, и одновременно переживаешь острейшее удовольствие.

– Есть роли, которые так и не сыграли и жалеете?

– Я вам по-другому отвечу. У меня были две-три роли, которые мне хотелось играть и которые мне удавались. Франц Сартра, пьеса Харвуда «Костюмер», наш спектакль с Банионисом про Баха и Генделя, пожалуй. Больше не вспомню.

– Вы жизнь мерите ролями или все-таки бытовыми событиями?

– Ролями, хотя быт тоже важен для меня – рождение сыновей, например, три двухметровых парня у меня растут. Старшему тридцать три, младшему двадцать пять. Вы удивляетесь? Мне под семьдесят, но я поздно женился, в тридцать лет.

– А вы все делаете так осознанно?

– У меня вообще доминирует мозг, а не чувства, и роли мои тоже имеют оттенок умозрительного построения.

– Приходилось ли вам когда-нибудь рассуждать, что зря вы поддались искушению и пошли в актеры?

– Да нет. Если бы я в какой-то лаборатории, в каком-то научном институте работал, может быть, был

бы профессором сейчас, может, преподавал бы. И жизнь проходила бы между формулами, хотя специализация у меня была неплохая – полупроводниковая физика, то, с чего начинается вся электроника. Но я не

**Часто роль
начинает
на психику
действовать,
и вот уже человек
в этой
роли в жизни
живёт,
общается
как персонаж**

пытал бы никогда таких волнений, как перед выходом на сцену. А я и сейчас еще их испытываю, хотя и по другому поводу: волнуясь о том, почему же я не волнуюсь. На самом деле мне уже безразлично, сыграю я эту роль или не сыграю, ведь сколько их уже, несыгранных или сыгранных неудачно ролей было. Ну и что? Каждый год я еще в какой-то постановке участвую, но, знаете, много пустоты в актерской профессии, пустоты даже внутри себя. Проходит какое-то время, ты не занят, и начинается волнение от этой пустоты, растет потребность еще раз выйти на сцену, из последних сил попробовать. Мы, по всей видимости, наркоманы.

– Вы так философски относитесь к возрасту, что можно позавидовать.

– Помню, я еще в молодости читал книгу Сомерсета Моэма «Подводя итоги», где он, шестидесятилетний писатель, говорит о жизни, любви и смерти. И говорит, мол, наконец, наступило время, когда меня не бесят никакие бури, нет ни гормонов, ни сперматозоидов, не надо бегать за юбками, я могу наблюдать жизнь и довольствоваться этим. Я понимаю Моэма и то, о чем он говорит. Это и есть смерть. Ничего не поделаешь. Никакого пессимизма у меня нет, но я маразматиком еще не стал, чтобы этого не понимать.